

А. К. Дживелегов

Член-корреспондент АН Арм. ССР

Дантова „жадность“

Данте никогда не упускал случая заклеить жадность: в канцонах, в „Пире“, в письмах, в „Монархии“. И больше всего—в „Комедии“.

Будь проклята волчица древних лет,
В чьем ненасытном голоде все тонет
И яростней которой зверя нет!
О небеса, чей ход иными понят,
Как полновластный над судьбой земли.
Идет ли тот, кто эту тварь изгонит?

(„Чистилище“ XX)¹

Волчица эта—та самая, которая напала на поэта в дремучем лесу в преддверии ада и от которой спас его Вергилий, прогнавший и двух других зверей. Она грызет всех людей. Она—символ жадности. Размышления о том, что представляет собою „жадность“ в общественной жизни, появились у Данте как только перипетии изгнания грубо столкнули его с действительностью. Еще до экспедиции Генриха VII, в годы, когда судьба бросала его от замка к замку и по разным синьориальным дворам, в канцоны, в которых он старался осмыслить средствами моральной философии светлые и темные стороны действительности, он вставил несколько ярких строф, клеймящих жадность (*avarizia, cupidigia*). В канцоне „*Dogliu mi reca nello cor...*“ говорится: „Тот кто поработен—все равно, что привязан к господину и не знает, куда он влечется по горестному пути. Так и скупец жадный до богатства, которое властвует над всем. Бежит скупец, но мира не обретает—о, ум ослепленный, неспособный видеть, как безумно его стремление! Сколько бы он ни скопил, ему все мало: он мечтает о бесконечном“. В канцоне „*La dolci rime d'amor*“ две строфы посвящены раскрытию неизменной природы богатства и людей, которыми владеет страсть к обогащению.

¹ Цитаты из „Комедии“ всюду в переводе М. Л. Лозинского.

В тяжеловесной схоластической „Монархии“ рассыпано множество сентенций на ту же тему: жадность подсказывает людям дурные поступки и дурные мысли; „упрямая жадность угащает цвет разума“ и производит опустошения в умах и сердцах. „Жадность всего больше мешает справедливости... Устраните жадность и ничто не будет ей препятствовать“ (Моп. I, 11, 11). „В тихую гавань мирной жизни человечество не может вступить раньше, чем улягутся волны бледной жадности“ (Моп. III, 16, 11).

В письмах времен экспедиции Генриха VII мысль поэта то и дело возвращается к „жадности“: чтобы обезопасить от нее людей или упрекнуть их за то, что они становятся ее жертвами. В письме к итальянцам, возвещающем о приходе императора (Epist. V, 13), он закликает их встречать его с чистым сердцем и прибавляет: „Пусть не обольщает вас подобно сиренам обманщица-жадность, усыпляющая бдительность разума какой-то своей сладостью“. В письме-инвективе против Флоренции (Epist. VI, 5) Данте восклицает среди града других упреков: „Вы, попирающие право божеское и человеческое; вы, прельщенные ненасытной жадностью,—готовы на всякое беззаконие (pe-las)*. И дальше, в том же письме (Epist. VI, 22): „В слепоте своей вы не замечаете, как тиранническая жадность обольщает вас ядовитой сладостью, подавляет пустыми угрозами и превращает вас в рабов греха. Она мешает вам подчиниться священным законам, подражающим образу естественной справедливости“. И уже после смерти Генриха в письме к кардиналам (Epist. XI, 14) Данте клеймит их за всевозможные пороки: „Разве каждый из вас не взял себе в жены жадность, которая никогда не является родительницей благочестия и справедливости, как любовь, а всегда—матерью нечестия и несправедливости“. И тут же прибавляет (Epist. XI, 26) специально по адресу гасконских кардиналов, хозяйничавших в конклаве после смерти Климента V, что они „пылают безумной жадностью и пытаются присвоить себе славу латинян“.

Но все это—публицистика, парфянские стрелы, рассыпанные в пылу борьбы и метившие чаще всего в мимолетных противников. Понятие „жадности“ не обобщается и не анализируется. Обобщение приходит в „Комедии“. Там „жадность“ фигурирует постоянно. За жадность казнятся в аду, очищаются в чистилище, выслушивают укоры и обвинения в раю. Потому что „Комедия“ выясняет это с полной очевидностью для данте—жадность порок универсальный. Короли все заражены жадностью. Гуго Капет, родоначальник французских королей, укоряет за жадность все свое королевское потомство: они днем молятся богородице и выхваляют ее бедность, а по ночам у них слышатся иные песни:

О, жадность, до чего же мы дойдем,
Раз кровь мою так привлекло стяжанье,
Что собственная плоть ей нипочем...

А возглас мой к невесте невестной
 Святого духа вызвавший в тебе,
 Твои вопросы—это наш совместный
 Припев к любой, творимой здесь мольбе,
 Покамест длится день; поздней заката.
 Мы об обратной говорим судьбе.
 Тогда мы повторяем, как когда-то
 Братоубийцей стал Пигмалион,
 Предателем и вором в жажде злата;
 И сам Мидас в беду был вовлечен
 В своем желаньи жадном утоляем...

(„Чистилище“ XX)

И многие другие герои мифа, священного писания и истории, которые запятнали себя жадностью, могли бы притти на ум прародителю капетова племени. Они все нашли себе место в „Комедии“. Французы не одни. Анжуйцы и арагонцы в Италии жадны одинаково. Жаден Фридрих III, король Сицилии; Жаден Роберт Анжуйский, король Неаполя, глава гвельфской лиги; жаден был его отец Карл II, пропавший дочь маркизу д'Эсте; жаден был первый представитель анжуйцев в Италии Карл I. Из жадности воюют Англия и Шотландия, из жадности Габсбурги, Рудольф и Альбрехт, забыли об обязательствах империи перед Италией. Жадностью заражены все итальянские коммуны; от нее страдает рыцарская доблесть городов Романьи; Болонья несет позор за свою „скупую грудь“; Павия полна ростовщиками, Лукка—мошенниками; каталонцы стали жертвами жадности... Флоренция разбилась на партии из-за „гордости, жадности, зависти“. Доблесть ее граждан угасла с тех пор как город наполнился „деревенщиной“, которая принесла туда идолопоклонство перед наживой. Когда флорентийцы, встреченные поэтом в аду, спрашивают его, живет ли еще в городе „любовь к добру и к честным нравам“, он восклицает

Ты предалась безумству и гордыне,
 Пришельцев и наживу обласкав,
 Флоренция, тоскующая ныне...

(„Ад“ XVI)

„Пришельцы“—это „новые люди“, это та „деревенщина“, которая заполонила Флоренцию и заразила ее стремлением к „быстрой наживе“. Вот язва, разрушившая добрые старые устои города. Сколько преступлений совершали граждане флорентийские из жадности!

Однако, не только Флоренция болеет жадностью, больны ею все городские республики и их граждане. Про всех про них Брунетто Латини мог бы повторить свои клеймящие слова:

Завистливый, надменный, жадный люд!

(„Ад“ XV)

А духовенство! Из жадности папы прибегают к симонии: Николай III, Бонифаций VIII, Климент V. Встреченный поэтом в чистилище, Адриан V сознается:

Жадность там порыв любви к благому
Гасила в нас и не влекла к делам.

(„Чистилище“ XIX)

Николая III, который упрятан головою в яму и дрыгает ногами, обжигаемыми огнем, поэт осыпает негодующими проклятиями:

Торчи же здесь: ты платишься за дело;
Ты крепче деньги грешные храни,
С которыми на Карла шел так смело...

Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.

Сребро и злато ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто зараз.

(„Ад“ XIX)

Жадностью обуяны все монахи. Францисканцев и доминиканцев корят за это в раю Фома и Бонавентура. Одинаково жадны и бенедиктинцы с камальдульцами, которые попадают под возмущенную филиппику основателя ордена. В четвертом кругу ада поэт видит грешников, у которых на темени тонзура. На его вопрос Вергилий поясняет:

Те — клирики с пробритым гуменцом;
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
Непревзойденных ни одним скупцом.

(„Ад“ VII)

Если к этому прибавить то, что говорится о жадности итальянских государей в трактате об итальянском языке (*Vulg. Eloq.* I, 12, 6), и то, что говорится о жадности итальянских литераторов в „Пире“ (*Conv.*, I, 9, 2), то эмпирический материал будет достаточно богат и разнообразен. Ведь выходит, что нет сословия, нет класса, нет общественной группы, которые не были бы заражены жадностью. Ею заражены и коллективы и отдельные личности. Так рисуется дело поэту. Это результат его наблюдений, его знакомства с миром и с людьми, вынесенного как во время пребывания во Флоренции, так и в годы странствования по другим итальянским городам, по замкам, за пределами Италии. Материал собран огромный. Как его следует истолковывать?

Обвинения в жадности, брошенные по адресу отдельных людей и отдельных общественных групп, чаще всего по адресу духовен-

ства, в большом изобилии раздавались и до Данте. Ими пестрят латинские стихотворения вагантов, которые, начиная с XII века, а кое-где и раньше, оглашали в ту пору города и поселения. Ими была полна противопапская литература средних десятилетий XIII века, появившаяся в разгар борьбы с Римом Фридриха II Гогенштауфена, в частности та латинская сатира, написанная рифмованными четверостишиями, которая появилась в сороковых годах XIII века и автором которой считали Пьеро делла Винья. Ими густо начинены сирвенты провансальских трубадуров. Мотив жадности, как мотив сатиры, словом, не нов. Ново то, что Данте его обобщает, и как обобщает.

Анализируя хотя бы только тот материал, который приведен выше и который далеко не исчерпывает все упоминания о жадности в произведениях Данте, мы без труда найдем, что он распадается на две группы. Часть упреков в жадности носит конкретно-индивидуальный характер: обвинения в жадности направляются против определенных лиц или определенных групп. Другие обобщены. Одно дополняет другое. Указания на отдельные факты дают в итоге общественный результат, складываются в широкую обобщенную картину, а общие положения как бы подводят под нее философский фундамент, помогающий осмыслить ее во всей ее универсальной широте. Жадность как явление универсальное—это основной итог наблюдений поэта. В этой универсальности исторический смысл его наблюдений.

Когда то или иное свойство человеческое становится универсальным, оно перестает быть преступлением и даже грехом. Его можно осуждать, исходя из тех или иных моральных принципов. Но его нельзя карать, ибо каре подлежал бы весь род человеческий. Жадность, которую Данте осуждает и которую карает, не есть тот стихийный порок, который достигая размеров исключительных, становится явлением противообщественным. Универсальность дантовой „жадности“ снимает с нее характер преступности и греховности. Дантова „жадность“ не что иное, как стяжательство современной ему эпохи, поры хищных дебютов капитала. Поэт, накапливая свой эмпирический материал, не заметил, что он просто-напросто характеризует растущую власть над людьми материальных интересов. Он смотрел и видел правильно. И нужно было обладать огромной остротой зрения и необыкновенной чуткостью, чтобы собрать столько наблюдений и обобщить их, раскрывая роль этой основной пружины человеческих помыслов и дел.

Что смысл „жадности“ был именно таков, выясняется из тех глав четвертого трактата „Пира“, где исследуется источник этого свойства человеческой природы. Там говорится, что жадность порождена фактом существования в мире богатства и борьбы за богатство (Conv. IV, 10—12): „богатства в своем накоплении несут опасные несовершенства, ибо осуществляя по видимости то, что они сулят, они приводят к противоположному. Обещают всегда эти носитель-

ницы лжи, что накапливающий богатства будет удовлетворен в полной мере, если накопленное достигнет определенного уровня; этим посылком воля человеческая побуждается к пороку жадности".

Стоя на своих этических и богословских позициях, Данте не может мириться с тем, что „жадность" присуща человеческой природе с силою некоей необходимости. В его время с таким взглядом свыкались лишь постепенно и с трудом. Повседневная жизнь, труд, быт в своих многообразных проявлениях изобиловали фактами, иллюстрирующими власть „жадности", но формул, раскрывающих закономерность этих фактов, не было. Джованни Виллани, начавший писать свою хронику в тот самый 1300-й год, к которому Данте приурочил свое загробное странствование и писавший ее почти полных столетия—его унесла чума 1348 года,—внес в свое повествование огромное количество точных фактов и статистических данных, характеризовавших деловую жизнь Флоренции: торговлю, промышленность, ремесла, кредит, земледелие. Под каждым наблюдением такого рода, занесенным в хронику, под каждой цифрой, исчисляющей количество рабочих в той или иной боттеге, или количество выработанных кусков сукна, или указывающей движение цен на товары, кроется дантова „жадность" в действии. То, что видел Виллани, несколько раньше видел и Данте. Но Виллани был человек практической жизни, член одного из старших цехов и не прилагал к тому, в чем проявлялась человеческая предприимчивость, этических и богословских критериев. И это определяло ясность его суждений. Ему не нужно было ничего обобщать. Как ему самому, так и его современникам все было понятно без обобщений и без комментариев. А Данте хотел все осмысливать философски. И вся человеческая предприимчивость, вся система господства над человеческой природой материальной стихии символизировались для него в понятии „жадность". Перед ним был чувственный мир во всем своем разнообразии: природа, общество, человек. Он был вполне способен охватить его взором. Он изображал его с невиданной дотоле пластичностью, ибо был гениальным поэтом. Но для него в этом чувственном мире кристаллизовалась, как реальная, прежде всего его духовная субстанция. Он ее изучал, анализировал, принимал, отрицал. Материальная основа этого чувственного мира от его анализа ускользала как неизмеримо менее важная. Тем не менее то, что он обобщил под понятием „жадности", было показано эмпирически с такой силой, что сущность его вскрывается для нас с полной ясностью.

Данте, сын промышленной Флоренции, установил, нигде не сказав это точными словами, что господство материальной стихии над человеком сделалось в его время явлением универсальным, ибо она одинаково руководит действиями королей, пап, кардиналов, коммун, горожан, рыцарей, духовенства белого и черного, всех, всех. Но тот же Данте, философ, закаленный в богословских диспутах в Болонье и в Париже, объявил описанное им явление противообще-

ственным, ибо ему было морально нестерпимо мириться с тем, что роль материальных интересов в политике, общественной и частной жизни так подавляюще велика. Поэтому он считал подчинение власти материальных интересов жадностью, т. е. явлением ненормальным, противообщественным, греховным, подлежащим осуждению. Данте сумел установить факт, потому что половина его существа была новая, вскормленная по флорентийской лаборатории нового флорентийского общества, но он осудил его потому, что другая его половина была средневековая.

„Комедия“ полна частными проявлениями этой же раздвоенности, частными выводами из основной предпосылки. Данте заставляет предка своего Каччагвиду осуждать купцов, ездивших по торговым делам во Францию и покидавших жен как бы вдовами на долгие месяцы. Он не хотел мириться с тем, что основой нового мира была торговля, а торговля в условиях начала XIV века не могла не сопровождаться продолжительными отлучками. Вполне последовательно также было с его стороны, что он засадил в ад ростовщиков. Он вполне разделял церковную точку зрения, что „лихва“ греховна, и не хотел признавать той огромной роли, которую играл уже в его время кредит. Он словно забыл, что во Флоренции был специальный цех менял (*Cambio*), т. е. банкиров и что в экономике Флоренции кредитное дело было одной из основ. Он упрямо не хотел допустить до своего сознания факт, который видел отлично: что торговля, кредит, промышленность приобрели огромное значение в общественной жизни, что они властвуют над всем. Виллани, не мудрствуя лукаво, все эти вещи аккуратно регистрировал в своей хронике и был уверен, что для его современников они представляют огромный интерес. А Данте считал, что они могут интересоваться только низшую породу людей, у которой нет идеалов. Об этом со всей определенностью говорится в канцоне, предпосланной четвертому трактату „Пира“ и в самом его тексте. Там речь идет о том, что богатство, к которому люди стремятся, неспособно дать благородство и потому по природе своей низменно. Для Данте поэтому рост удельного веса хозяйственной предприимчивости был признаком упадка и вырождения, ибо сопровождался снижением удельного веса духовных ценностей. А именно рост новой экономики и был признаком могучего прогресса. Дантовы стоны по ушедшим безвозвратно временам скоро сменятся другими песнями, которыми окрепший и сознавший себя „буржуазный дух“ будет прославлять предприимчивость и стремление к наживе. Ибо капитал был силою наперекор всему, что думал и говорил об этом Данте Алигиери.

Это скоро станет находить выражение в виде определенных идеологических формул. Через сто с небольшим лет после Данте Леон Баттиста Альберти будет именовать дантову „жадность“ хозяйственностью (*la masserizia*—буквально „бережливость“). А через двести лет у Макиавелли вся классовая борьба будет объясняться ма-

териалистически, а современник и друг его Франческо Гвиччардини назовет дайтову „жадность“ совсем по нашему „интересом“ (Interesse). Так в эволюции ренессансной идеологии отношение к этому свойству человеческой природы будет диалектически раскрываться. Факт утверждается единогласно: свойство существует и оно универсально. Но Данте осуждает. Альберти обожествляет („святая вещь хозяйственность!*), Гвиччардини холодно и с полной, почти научной объективностью анализирует его и признает основной пружиной человеческих действий.

Восприятие „жадности“ как чего-то подлежащего осуждению, мешало Данте видеть единство мира человеческих ощущений и человеческих действий. В дантовом обществе растущая власть „жадности“, т. е. материальных интересов не только возбуждала хищную тягу к накоплению, но, усложняя жизнь, рождала новые эмоции более человеческие, новые потребности более тонкие, новые вкусы более изощренные. И не только просто рождала все это, но и вызывала стремление оправдать их в борьбе с темным прошлым. Все эти процессы совершались вокруг Данте во всей своей сложности, переплетались между собою, не переставая быть выражением одной и той же исторической тенденции. Данте улавливал отдельные ее проявления, ритмы, в ней скрещивавшиеся, но не видел их единства. Он принимал одно, отвергая другое с одинаковым пафосом, но общая линия его восприятия определялась достаточно ясно. Отвергал он материальную основу культурного процесса как универсальную „жадность“, а принимал, не сознавая их связи с этой материальной основой, многие из ее порождений в области духовной жизни.

Быть может он бы пришел к пониманию связи между материальной и духовной сторонами культуры, если бы изгнание не оборвало его внутреннего роста, если бы Флоренция не сделалась для него лишь горьким воспоминанием: Флоренция любимая и ненавистная, оплакиваемая и проклинаемая, возделенная, недостижимая. И все-таки то, что в его сознании было порывом вперед, преодолением аскетизма и темной церковной идеологии,—носило отпечатки флорентийской культуры, было связано с Флоренцией и ее общественной лабораторией. Нарождающимся в этой лаборатории ощущениям и формулам нового мировоззрения чудесный его гений дал звучание на все времена.

Прежде всего любовь. Поэт знает не только платоническую куртуазную любовь „Новой жизни“, не только аллегорическую, которая превращает в „благородную даму“ философию, не только мистическую, которая „движет солнце и другие светила“. Он знает, что есть и иная. Он и сам испытал ее и не скрывает этого от своих читателей. Это та любовь, о которой говорит Франческа да Римини:

Любовь, любить велящая любимым...

(„Ад“ V)

И не только любовь. Слава, „главная болезнь“ Петрарки, в душе Данте уже не пробуждает никаких аскетических размышлений. В уста Вергилию он вкладывает упрек себе за небрежение к зовам славы:

Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной...

(„Ад“ XXIV)

А на поощрительные слова предка своего Каччагвиды со всею страстью говорит о том, как будет дорога ему память о нем потомства:

Если с правдой побоюсь дружить,
То средь людей, которые бы звали
Наш век старинным, вряд ли буду жить.

(„Рай“ XVII)

В ту же цель бьет весь эпизод с Одиссеем, смысл которого заключается в том, что свободному духу свободного человека необходимо свойственно стремление к знанию, к раскрытию тайн природы, к исследованию неизведанного мира, т. е. все то, что церковь осуждала, как дерзкое вторжение в сокрытые от смертных уделы духа. И даже любовь к добру Данте осуждает, когда она недостаточно живая, когда она унылая, когда она

...ко благу не путем спешит...

(„Чистилище“ XVII)

За „вялую“ любовь к добру люди мучаются в его чистилище.

Все эти эпизоды „Комедии“ объединены одной мыслью. Поэт возвещает новое мировоззрение, ярко окрашенное мирскими тонами непримиримо враждебное церковной догматике. Вместе с очень личным и очень свободным ощущением религии, пронизывающим всю поэму, эти эпизоды свидетельствуют о том, что Данте умел слышать в новой городской атмосфере рождающиеся мелодии грядущих человеческих идеалов. Все это — плоды, взошедшие на почве взрыхленной „жадностью“. Данте этого не видел. Ему не дано было понять, что нельзя славить времена Беллинчоне Берти и Каччагвиды, Флоренцию, не знавшую обширных торговых операций и международных кредитных сделок и в то же время преклоняться перед чувствами Франчески и перед смелой свободной мыслью Одиссея. Он не понимал, что нельзя осуждать „жадность“, считать ее универсальным грехом и в то же время восторженно приветствовать духовные порождения, прямо или косвенно ею обусловленные.

То что Данте осуждал материальную основу современной ему культуры, смыкалось с теми сторонами его мировоззрения, которые влачили груз старой идеологии. Это — все категории и концепции одного и того же ряда: схоластика, богословие, аллегория, символы,

магия чисел. И тут же неприятие материальной основы той духовной культуры, которая зовет поэта стать ее пророком.

Все это определяет содержание и объем дантова гуманизма в сопоставлении с гуманизмом Возрождения. Идейным зерном гуманизма, как у Данте, так и у людей Возрождения было понятие о человеке. И для Данте и для людей Возрождения человек находился в центре мировоззренческих проблем. Но различие было очень существенное. Для Данте в человеке была ценна исключительно его духовная сторона, его духовный мир. Для людей Возрождения, для художников и мыслителей, которые были его корифеями, для Боккаччо, для Чосера, для Рабле, для Сервантеса, для Шекспира, — для живописцев и скульпторов в человеке важна не только духовная стихия, но и материальная. Последняя особенно. Ими утвержден ее примат.

Однако этим не сказано последнее слово о мировоззрении Данте. Поэт не был бы самим собою, если бы в великой своей поэме не дал выхода своей вере в светлое будущее, ожидающее человека и человечество. В этом отношении полна особого смысла XXVII песнь „Рая“. Беатриче ведет его от неба к небу, все выше и выше. Ее улыбка становится на каждом подъеме все лучезарнее. Бедный земной человек, оказавшийся живым и раньше всех сроков в ослепительных сияниях райских сфер, едва выносит ощущение растущих воли света. Перед вознесением на небо Перводвигателя Беатриче заставляет поэта напоследок взглянуть на грешную землю и еще раз осмыслить для себя, какое сплошное на ней царит зло. Тут Данте в последний раз в „Комедии“ бросает проклятия „жадности“, вкладывая их в уста Беатриче:

О, жадность! Неспособен ни единый
Из тех, кого ты держишь поглотив
Поднять зеницы над твоей пучиной...

Казалось бы вся песнь должна закончиться мрачным пессимистическим аккордом. Падению человеческой нравственности как будто нет исцеления. Но Данте верит в человечество, несмотря ни на что, ибо он верит в человека. И нет уже в нем никакого пессимизма теперь, когда поэма близится к концу. Разложение и пороки людей — явление временное. Мир идет не к катастрофе, а к подъему. В это он, поэт, верит безоговорочно, и веру свою возглашает пророчески:

Но раньше, чем январь возьмет весна
Посредством сотой вами небреженной,
Взревет так мощно горная страна,
Что вихрь уже давно предвозвещенный,
Носы туда, где кормы, повернет,
Помчав суда дорогой неуклонной.
И за цветком поспеет добрый плод.

Хотя астрономические метафоры здесь и туманны, основная мысль ясна. Дописываются последние песни поэмы. И мы слышим мощную оптимистическую симфонию, достойную грандиозного дантова создания. Кругом еще царит феодальный хаос, кругом господствует тьма, нагнетаемая на человечество церковью. Душа поэта беспрестанно подавляется видениями зла, не фантастическими, а реальными. И всетаки его гений, окрыленный гневом и скорбью, указывает ему истинные перспективы человеческого прогресса и внушает уверенность в победе света над мраком.

В этом финальном взрыве оптимизма погашается все то, что было в дантовом сознании от прошлого. И еще раз утверждается, как нечто непререкаемое, водораздел идейных ценностей его поэмы. Все, что связывало Данте с отсталыми элементами его эпохи, было преходяще: оно было от времени. Все, что связывало его с растущим движением человечества вперед, было органично: оно было от него, опередившего время.

У великого поэта не могло быть иначе.

0876